


[RECENT ENTRIES](#)
[FRIENDS](#)
[ARCHIVE](#)
[PROFILE](#)
[Add to friends](#)
[RSS](#)

zotych7



Лео Яковлев Из книги «Некрологи» - 3

Начало см. <https://zotych7.livejournal.com/842963.html> и далее в архиве



January 17th, 2019

Жизнь и приключения Андрея Григорьевича Чернова

Здесь мы переходим от покойных академиков к покойному бывшему помощнику самого Президента Академии наук. Когда-то Герцен назвал своего дядюшку, отца Натали, А. А. Яковлева уродливым порождением уродливой русской жизни. В какой-то мере вторую часть этого высказывания можно применить и к Чернову, являвшемуся порождением уродливой русской жизни уже в наше время, ибо его карьеру нельзя привязать к иной действительности, как нельзя привязать к нашей («советской»), скажем, карьеру биржевого дельца.

Происходил Чернов из местечковой еврейской семьи откуда-то из-под Чернобыля и, следовательно, и имя, и отчество, а может быть, и фамилию, он придумал себе позднее. Как и во многих других местечковых семьях, все дети росли крутыми революционерами, а так как революция этому поколению в его жизни подвернулась, то старшая сестра Чернова — Роза приняла в ней активное участие. (Старшие братья не дождались столь милой евреям революции и подались на заработки в Южную Америку, где и обосновались.) Роза, как Голда Меир, стала видным «комсомольским вожаком» на Украине. Чернов как-то мне показывал фотографию 30-х годов, где Роза была рядом с Хрущовым.

Сам Чернов по малолетству участия в революции не принял, но мотался по стране, держась за ее юбку и кожанку, и однажды попал на глаза Ленину и прочим Ульяновым. Те посчитали, что мотаться ему хватит, и определили его на учебу.

С учебой его — дело темное, однако читать, писать и, главное, считать он научился, и, кроме того, вынес настолько глубокое уважение к наукам, что после странствий по советским учреждениям надолго определился на работу в аппарат Академии наук. Там своей смышленостью он обратил на себя внимание Владимира Леонтьевича Комарова и вскоре заслужил его безграничное доверие. Это было весьма кстати, так как в канун 37-го умерла Роза, и надеяться Чернову было не на кого. Смерть Розы тоже была кстати, т. к. она переписывалась с аргентинскими братцами и в сочетании со своими троцкистско-бухаринскими знакомствами была, можно сказать, находкой для любого следователя-сюжетчика тех времен.

Сам же Чернов был чуток к новым веяниям и вел себя тихо. Тихо он стал заведующим канцелярией Комарова, его alter ego в хозяйственных делах.

На этом посту он особенно развернулся в дни войны, когда аппарат вывезли в Казань. Подобрал группу молодцев, которая вместе с ним называлась в академических кругах «Комарильей» (по фамилии Комарова), он переправлял в арендованных Академией наук вагонах горы продуктов, наживаясь на их реализации. Добрейший Владимир Леонтьевич, разумеется, ничего не ведал об этой деятельности.

Именем Комарова Чернов творил и добро, причем очень избирательно, с расчетом на отдачу в будущем, когда Комарова не станет. Но это его не спасло — Комаров ушел в иной мир, Чернов стал рядовым работником аппарата и в очередной «сталинский набор», в году пятьдесят первом оказался в концлагере. Там он примазался к медпункту.

Став по лагерной терминологии «придурком» — одним из тех, на которых впоследствии делал свои националистические обобщения Солженицын, он благополучно пережил смерть гения всех времен и народов. Лагерная жизнь сталкивала его с разными людьми — от убийц Бабьего яра, с наслаждением вспоминавших, как они тогда «погуляли», до коблы «советских еврейских писателей», вызывавших всеобщее отвращение. Чернов же был хорош со всеми — сказывалась универсальность его натуры.

Фемида не любит скорых пересудов, и освобождение Чернова затянулось года на полтора. Выйдя на волю мучеником, он восстановился в коммунистической партии и не спешил определиться на постоянную работу, искал место прибыльное и непыльное, тем более, что в Академию его не брали, квартиру не вернули, жена отказалась от него. В общем проблем было много, а некогда благодетельствованные им курвы-академики не спешили платить добром за бывшее добро.

В своих поисках жанра он в конце 55-го вышел на тетю Манечку (Марию Викторовну Тарле-Тарновскую, сестру покойного историка) с предложением издать сочинения Тарле. Тетя Манечка, с присущим ей недоверием к людям, некоторое время колебалась, к тому же Чернов срывался то и дело на рассказы о своем былом могуществе, о своих огромных связях, то вдруг сообщал, что он был любовником молодой Плисецкой, что при его малом росте как-то не укладывалось в сознании и вообще веселило слушателей.

Но тетя Манечка все же решила, что риск не велик, тем более, что от нее Чернов просил всего лишь уважительное и теплое письмо к известной писательнице Ольге Дмитриевне Форш, а писать такие письма тетя Манечка умела.

Взяв письмо в зубы, Чернов отправился в Питер к Форш. Почему именно Форш? Тайна была неглубокой — Форш на самом деле не Форш, а Комарова — двоюродная сестра Владимира Леонтьевича и близкий ему человек, а следовательно, близкий и Чернову.

Форш ходила тогда в литературных патриархах, исторический уклон ее творчества был известен, и потому ее обращение непосредственно к Булганину об издании бесценного наследия Тарле выглядело вполне естественно. И тут начал срабатывать присущий Чернову организационный дар. Его знакомый из канцелярии тогдашнего премьера уговорил того подписать резолюцию об издании сочинений без всяких академических виз и согласований. Веселый маршал подписал, помня еще об отношении к Тарле Сталина и его окружения, о популярности Тарле в предвоенные и военные годы.

Чернов же обеспечил попадание этой резолюции к нужным людям прямо в издательский отдел Академии, минуя управление, где все могли спустить на тормозах. Он же обеспечил немедленное развертывание работ и заключение договора с тетей Манечкой. Вскоре она получила аванс за первый том и навсегда поверила в могущество Чернова.

Чернову удалось не только протащить большой объем собрания, но и за взятки, как он говорил, увеличить его тираж до 30 тыс. экз. (один академический тираж научного издания в академическом издательстве составлял тогда 10 тыс. экз.), что увеличивало гонорар на 160 %.

Сам Чернов спрятался за скромной ролью составителя, хотя настоящую составительскую работу вела Анастасия Владимировна Паевская, верный и давний друг-помощник Тарле.

Вокруг издания этих сочинений кормилось много людей, а взятки, по его словам, доходили до тогдашнего руководства и до бессменного Лихтейнштейна, так что всем черновским мероприятиям была зеленая улица.

Все «светила» тогдашней исторической науки (многие из них в душе охотно помешали бы этому начинанию в корне) с удовольствием редактировали отдельные тома, а не увенчанный академическими лаврами, но весьма влиятельный «казенный еврей» — советский «райхс Jude» Ерусалимский написал искреннее и прочувственное предисловие-биографию Тарле для первого тома.

Тетя Манечка умерла, успев подержать в руках сигнальный экземпляр первого тома. И здесь, надо отдать ей должное, в ее сознании на первое место вышло понимание важности этого предприятия, а потом уже гонорар, который, она это чувствовала, ей уже не будет нужен. Она переписала собственное завещание, введя в число наследников ее части авторского права самого Чернова, так как благополучное завершение этого предприятия зависело только от него, чего не понимала ее племянница Виктория, двоюродная сестра моего отца, досадовавшая на уход денег в чужие руки.

Тетя Манечка умерла в декабре 57-го. Чернов и муж Виктории Толя Финогенов проявили оперативность — быстренько по еще действующей ее доверенности сняли с книжек 20 тыс. рублей «на похороны». Я в Москву не ездил — не отпускал малолетний сын. Пока шли хлопоты, Чернов, как мог, вывозил с дачи ценные вещи — пишущую машинку, остатки библиотеки, остатки архива. Драгоценности хранились у ухаживавшей за тетей Манечкой Е. И. Мараховской и ожидали дележа с Викторией. Мне из них причиталось врученное некогда Тарле (вместе с дипломом) колечко норвежского академика, из худого золота, и старинные золотые часы (из еще херсонской старины), где золота было грамм 50, — их я так и не получил от милых дам, очень при этом обижавшихся потому, что я им не возвратил какую-то грошовую ссуду, не превышавшую и четверти стоимости этих часов как золотого лома, не говоря о том, что для меня они были бы бесценной реликвией.

Чернов развил бурную деятельность по вводу в наследство. В завещании тети Манечки был упомянут десяток фамилий лиц, которым она в память о брате презентовала различные суммы. Среди них была и Любовь Евгеньевна Белозерская. Потом она мне рассказывала, что в 58-м

получила открытку от Чернова — он доводил до ее сведения, что она является наследницей 2000 р. (старыми) и требовал 400 р. на «хлопоты». Она не ответила и получила свое «наследство» без хлопот и затрат, а кое-кто, может быть, и попался.

На торжественный ввод в наследство в июне 58-го года Чернов настоял на моем приезде. Мне был забронирован номер в «Урале» на Столешниковом, и Чернов несколько дней демонстрировал мне свое могущество и учил жить. Наконец на обеде в «Национале» он мне разъяснил цель нашей встречи. Оказывается, по его словам, 20 % составительских по договору с издательством — это его кровные денежки, а вот оплачивать Паевскую должны мы все (включая его!), поэтому из всего, что мы будем получать из издательства, нужно переводить ему 20 % для расплаты с Паевской. Я переговорил с Викторией, оказалось, что она дала уже свое согласие. Таким образом, Чернов увеличил свою «наследственную» долю в 30 % еще на 14 % за наш счет. Давал ли он что-нибудь Паевской, готовой ради памяти Евгения Викторовича работать даром, останется их тайной — их обоих уже нет в живых. Я думаю, что давал, но процентов пять, не более.

Наш «пир» продолжался три с половиной года. Потом мудрое советское правительство специальным законом уменьшило в десять раз (!) гонорары наследников ученых, и последние тома собрания приносили по 100 рублей «новыми» на всю компанию. Игра потеряла смысл.

Тем временем Чернов наладил свой быт: стал персональным пенсионером, женился, как он говорил, на «простой русской девушке», определил сына в мединститут, получил вместо нескольких появлявшихся и исчезающих у него комнат в разных концах Москвы квартиру на Соколиной горе. Шли даже разговоры, что он купил дачу О. Л. Книппер в Гурзуфе, но это оказалось блефом, просто Гурзуф был его любимым местом отдыха, и он часто добывал путевки в дом Коровина.

Прекращение интенсивных поступлений от собрания сочинений Тарле при усвоенном им широком образе жизни заставили его выйти на работу. После тщательной проработки вариантов он выбрал центральное правление общества «Знание» под крылом у И. И. Артоболевского, действительно ему симпатизировавшего. Это позволяло ему крутиться на виду в милой ему среде академиков и профессуры, быть нужным им, что-то «устраивавшим» человеком.

Большой опыт «составителя» (он, помимо тарлевского издания, «составил», наверное тоже с помощью Паевской, собрание сочинений Лукина) помог ему: он довольно легко справлялся с брошюрами «Знания». Одна из них (за 64-й год) сохранилась у меня с его дарственной надписью.

Известность его в Академии действительно была велика. Как-то мне по пустяковому делу потребовалось в Тбилиси зайти к Мухелишвили. Я пришел без звонка в старинное здание Президиума Академии «грузинских наук» в Соллаки и через секретаршу передал коротенькую записочку «от Чернова, бывшего помощника Комарова». Через несколько минут из кабинета один за другим выскочило несколько важных ученых грузин, а затем на пороге показался хозяин, приглашая меня зайти.

В том же 64-м я искал постоянный источник публикации моих инженерных идей. Центральные строительные журналы не годились для этой цели — слишком много клиентуры ожидало в них своей очереди (я уже был автором четырех опубликованных в них статей). Тут Чернов, с которым я продолжал после недолгого периода охлаждения встречаться при своих наездах в Москву, обмолвился о своей близости к Владимиру Юрьевичу Стеклову, сыну известнца, убиенного Сталиным, который по возвращению из «отдаленных» мест процветал как человек, еще дитем обласканный вечно живым Лениным. Он был заместителем главного инженера Оргэнергостроя, имел на откупе тему «Ленин и электрификация», готовил мемориальный сборник трудов отца.

Чернов тут же позвонил Стеклову, и через несколько часов мы с ним встретились в редакции одного из сборников, выходящих под его эгидой. Он представил меня ответственному секретарю, и по сей день этот сборник, давно вышедший из-под управления умершего в прошлом году Стеклова и недавно ставший журналом, является для меня родным домом, но рассказ о нем особый.

О Стеклове нужно сказать еще два слова, он этого стоит. Ближе с ним я познакомился в 67-м на совещании в Вильнюсе. Он был его организатором. Со мной был любезен, говорил о своей любви к Прибалтике. Мы вместе ездили в зимние Электренай и Тракай, и частица моей любви к этому краю — от него.

Через несколько лет Чернов ушел из «Знания». К этому времени он уже въехал в свою последнюю квартиру у Таганского метро. Почему ушел — не знаю. Может быть, были какие-то осложнения. Об этом он всегда молчал, так как для посторонних его шествие по жизни должно было быть триумфальным. Деньги были нужны, — и он оказался у Стеклова, ставшего одним из руководителей информационного центра по энергетике — «Информэнерго». Зарплату здесь ему платили исправно, а в круг его обязанностей входила лишь организация пышных энергетических сборищ в Политехническом музее, — эксплуатировались его старые связи со «Знанием» и с Академией. Он показывал мне фотографии президиумов, организованных им собраний, где он выглядывал из-за спин Кириллина и Непорожного, намекал на свои дружеские отношения с министром, от которых толку было немного.

Постепенно и эта квазарная деятельность стала ему в тягость, и он, допекаемый диабетом и гипертонией, проводил время дома, мучаясь от своего физического бессилия, с непродолжительными выходами в город и редкими посещениями Дома журналиста, где обосновался в директорах благодетельствованный им Толя Финогенов, и Дома литераторов, как

знакомый Филиппова. Часто же он просто напоминал о себе, что еще жив, телефонными звонками, а он был крупным мастером телефонной беседы.

В эти последние годы я хоть раз в год сам и с сыном старался побывать у него. Мне было грустно видеть слабость человека, которому двадцать лет назад ничего не стоило мотнуться показать мне универмаг в Марьиной Роще и при этом сделать с улицы десяток важных телефонных звонков, но это зрелище льва зимой заставляло меня ценить то, что я еще имел, показывало тщету суеты. Да и разговор бывал интересным, чего только ни знал и ни видел Чернов! Трудно лишь было определить, что правда, а что нет. В коридоре стояли шеренги книг — книги из библиотеки Тарле, тома собрания сочинений Тарле, все это в моих глазах придавало его берлоге родные черты.

После двух последних моих приходо́в к нему я по горячим следам и по памяти записал некоторые его рассказы, как они мне запомнились, стараясь сохранить его язык и стиль. Этими записями завершается сей очерк. В конце 70-х в архиве Тарле вдруг появились новые бумаги, и среди них — письмо Сталина. Историк и биограф Тарле — Е. И. Чапкевич предполагал, что Чернов распродал увезенное (украденное) им из Мозжинки, может быть, он и прав.

Сейчас я даже не могу точно вспомнить, когда я последний раз видел Чернова или говорил с ним. Поскольку в последней записи его устных рассказов упоминается интервенция в Афганистан, то надо думать, что это было в 80-м году. Свидания наши происходили зимой. Летом и осенью Чернов, пользуясь правами персонального пенсионера, лечился бесплатно в институте геронтологии в Киеве (где у него были знакомые; я его однажды там посетил) и в санаториях. Потом я пару раз звонил ему, не попадал. Звонил и в конце мая 1981 года, когда ехал в Нарву. Никто не ответил. Потом оказалось, что где-то в эти дни он умер. В моих поездках в Москву после этого мая, вернее с осени 1981 года наступил перерыв месяцев на 6 (по болезни) и лишь летом 82-го Толя Финогенов, а потом жена Чернова — Лиля рассказали мне о времени и обстоятельствах его смерти.

Говоря об итогах жизни Чернова, я вижу два безусловно полезных дела, затмевающих все его проделки, — это издание трудов Тарле в 12-ти томах, а также теплые страницы жизнеописания В. Л. Комарова, увидевшие свет в одном из сборников конца сороковых. Все остальное — суета, исчезнувшая, как дым.